

АНДРЕЙ СЕВЕРОВ

«ГРИМЁР»

КНИГА, ОТ КОТОРОЙ ПАХНЕТ
ПОРОХОМ И БОЛЮ



АНДРЕЙ СЕВЕРОВ

Гример

<https://litres.ru/74318002>

SelfPub; 2026

Аннотация

Это роман-нуар, балансирующий на грани суровой криминальной драмы и философской притчи. Действие разворачивается в двух эпохах одновременно: в лихих 90-х, когда Ленинград перекраивали заново, и в наши дни, где эхо тех событий всё ещё звучит в гранитных набережных.

В центре сюжета — человек, которого называют Гримёр. Его имя стало его сутью. В прошлом — снайпер, мастер спорта по рукопашному бою, прошедший приднестровскую мясорубку. В настоящем — теневая фигура, «архитектор», который держит баланс между криминалом, властью и бизнесом в Северной столице.

Содержание

Пролог. Банный дуэт	4
Предисловие. Голос, который не успел стать книгой	19
Часть первая. Картина маслом	24
Третья попытка. ВИФК	25
Небо, которое осталось там	36
Воспоминания. Тирасполь	43
Часть вторая. Художник и его модели	58
Первая кисть. Имя	59
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Гримёр

Пролог. Банный дуэт

«Сила не в том, чтобы крушить. Сила в том, чтобы в тишине услышать, как два незнакомых голоса сплетаются в молитву, и понять: ты всё ещё жив».

Ямские бани на улице Достоевского. Пар, призраки трёх гениев и неожиданный дуэт двух незнакомцев, разрезающий тишину. Гримёр впервые чувствует красоту, не связанную со смертью.

Утро понедельника висело над Петербургом сырым свинцовым пологом, но для человека по кличке Гримёр это не имело значения. И Гримёр знал: озноб этот не сквозняк. Это эхо шагов, что простучали по этим половицам задолго до того, как он впервые переступил порог.

Ямские бани на улице Достоевского — одни из старейших в городе. Ещё в 1859 году купцы братья Туляковы отгрохали их на тогдашней Ямской улице, и сразу стало ясно: заведение не для простого люда. Чистота, простор, дубовый дух — престижное место, куда потянулась интеллигенция. И так крепко полюбились эти стены почтенной публике, что позже, когда потребовалось переименовать улицу в честь классика, уже никто не удивился: слишком часто здесь мелькал

нервный силуэт Фёдора Михайловича.

В этой парильне, где время спрессовано в жар, стены хранили тепло тел, что давно истлели, но здесь, в этой влажной вечности, продолжали обитать.

Вот он, низко опустив голову, сидит на корточках у каменки — Фёдор Михайлович Достоевский. Лицо бледное, болезненное, но глаза горят лихорадочным огнём. Он пришёл сюда не столько мыться, сколько думать и работать — говорят, частенько писал свои мрачные шедевры прямо здесь, в бане. В грохоте пара, в вое воды в трубах ему слышатся голоса Раскольников и Свидригайлова. Станный кабинет, но для него — настоящий. Тишина здесь особенная, густая, как грех. И выходил он отсюда с новыми главами, пропахшими не чернилами, а можжевельником. Казалось, вот и сейчас его призрак сидит в углу, нервно потирая ладонью колено, не замечая жара, мучимый видениями, которые станут классикой.

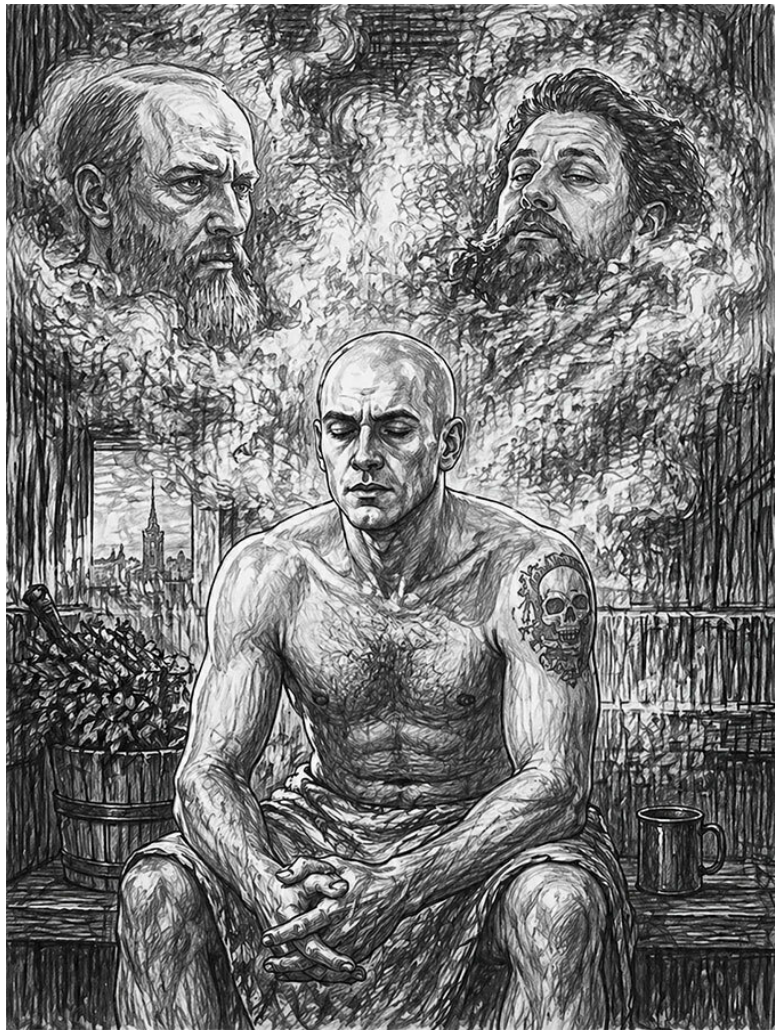
А рядом с ним, развалившись на полке, слышен тяжёлый, надрывный кашель. Это Модест Петрович Мусоргский. Он не просто мылся — он жил здесь, снимал комнаты в этом же доме Туляковых в конце пятидесятых. Его могучая фигура, рыхлая от постоянного возлияния, контрастировала с той ангельской чистотой, что он умел извлекать из фортепиано. Иные биографы шептались, что именно под этот ритмичный стук пара, под это шипение и бульканье воды в недрах банного водопровода к нему пришли первые аккорды «Ночи на

Лысой горе». Тьма, пар, нечистая сила и гениальная музыка — всё это варилось здесь, в одном котле.

* * *

И третий, самый неожиданный. Невысокий, уже тогда лысоватый молодой человек с цепким, пронизывающим взглядом. Владимир Ульянов. Пока ещё не Ленин, не вождь, а скромный помощник присяжного поверенного, снимающий угол и экономящий на всём. Был, говорят, примерным чистюлей — и в 1893 году захаживал в Ямские поплескаться, смыть с себя пот петербургских чердаков, где собирал кружки марксистов. Странно думать, что здесь, в этой бане, где пар мягок и расслабляет, в голове этого человека, возможно, закалялась сталь грядущей революции. Он лежит на полке, и его взгляд сквозь пар устремлён куда-то в одну, только ему видимую точку — туда, где старый мир будет смыт, как грязь с усталого тела.

А за стенами парилки, в предбаннике, наверняка прохаживались и другие тени. Вот Александр Блок — тонкий, бледный, с печатью обречённости на лице; он тоже знал эти стены. А вот и Николай Гумилёв — подтянутый военный, но и в нём, в этом любителе экзотики и странствий, жила тяга к простому, исконному, русскому.



Три судьбы. Три гения. Три одержимости. И ещё десятки других — поэтов, композиторов, мыслителей. Все они терпеливо ждали своего часа в этой влажной, горячей мгле.

Гримёр тряхнул головой, отгоняя наваждение. Слишком отчётливыми были эти видения. Казалось, что сегодня, в это утро понедельника, они особенно реальны. Будто целый пантеон русской культуры сошёл сейчас в одном пространстве: надрывная совесть Достоевского, разгульная стихия Мусоргского, ледяная воля Ленина и серебряные голоса поэтов. И все они смотрели на него, Гримёра, на чью долю выпало жить в эпоху, когда от их пророчеств и проклятий остались только черепа на плече и шрамы на лысой голове. Но баня стояла. Пар шёл. И это было важнее.

Он сидел на верхней полке, глаза закрыты. Тело, даже в расслаблении, хранило память о дисциплине: поза собранная, спина прямая, руки лежат на коленях тяжело и неподвижно, словно отлиты из того же дуба. Ростом 176 сантиметров и весом в 85 килограммов, он не был исполином, но каждый килограмм был упакован в упругую, готовую к взрыву силу. Силу бывшего мастера спорта СССР по рукопашному бою. Это было ДО. До того, как жизнь нанесла свои удары, оставив на его абсолютно лысой голове бледные рваные шрамы — немые архивы не самых простых разговоров. Теперь его знали как Гримёра. И взгляд у него был соответ-

ствующий — тяжёлый, медленный, впивающийся под кожу. Он мог молча смотреть на человека, и тот начинал чувствовать, как холодок страха ползёт по позвоночнику, вытаскивая на свет все спрятанные долги и ошибки. Сейчас веки были опущены, и этот взгляд спал.

Пар ласкал тело, и Гримёр, сам того не желая, опустил взгляд на свои руки, покоящиеся на коленях. Руки лежали тяжело и неподвижно, но он знал их истинную природу. Он знал их, как снайпер знает своё ружьё — не как предмет, а как продолжение воли, как выдох, застывший между рёбер.

Правая, чуть шире в кости, с вьёвшимся в складки кожи графитом — память о тисках и холодном оружии, которое он когда-то умел пускать в ход быстрее, чем противник успевал моргнуть. Левая — точная, спокойная, выверенная. Он смотрел на свои пальцы — длинные, с аккуратно остриженными ногтями, без единого кольца или перстня — и видел в них двойную жизнь.

Эти пальцы умели на спусковом крючке делать ту самую неуловимую паузу между вдохом и выстрелом, когда пуля ложится точно в цель с четырёхсот метров. И эти же пальцы тонкими, почти невесомыми мазками наносили грим на лица тех, кого уже нельзя было спасти, но можно было проводить достойно. Грим. Не театральный, не для сцены. Другой. Тот, что скрывает от родных правду, которую не выдержит сердце. Тот, что превращает рваную рану в спокойное лицо спящего человека.

Ирония судьбы, достойная пера того самого классика, что когда-то парился на этом полке. Гримёр, человек, чьё ремесло — смерть, — в минуты затишья становился хранителем посмертной иллюзии. Он возвращал мёртвым их человеческое лицо, чтобы живые могли запомнить их не искорёженными, а прежними. Он думал об этом редко — некогда было, да и незачем. Рефлексия — роскошь, которую люди его круга не могли себе позволить. Она размягчает, делает уязвимым. А уязвимость в его мире стоит жизни.

Он посмотрел на свои ладони, развернул их тыльной стороной вверх. Сеть мелких шрамов, почти незаметных, если не присматриваться. Один — от ножа в девяносто втором, когда он только пришёл из спорта в реальную жизнь и думал, что мастерство решает всё. Оказалось, решает скорость принятия решения и умение ждать. Другой шрам — от осколка, прилетевшего совсем, с другой стороны, не с Кавказа даже, а из совсем уж жопы мира, где правила не писались, а только исполнялись. Руки помнили всё. Вес «ПМ» с полной обоймой, холодок снайперской винтовки на морозе, шероховатость рукояти ножа, обмотанной синей изолентой. И они же помнили другое: мягкую, податливую плоть воска, холодок гримировального карандаша, невесомость кисточки, которой он затушёвывал синеву на виске восемнадцатилетнего пацана.

Гримёр медленно сжал пальцы в кулак. Костяшки побелели. В этом жесте не было угрозы — была проверка. Проверка

связи между прошлым и настоящим. Руки слушались. Они всё ещё были инструментом — острым, точным, опасным. Гримёр вдруг с острой, почти физической ясностью понял: эти руки умеют не только забирать и маскировать. Они умеют держать. Держать тепло. Держать равновесие. Держать самого себя в этом мире, который давно уже не сулил ему ничего, кроме войны и тишины на её обочинах.

Странное дело. Всю жизнь он считал себя реалистом. Циником. Человеком, который видит суть вещей за любым фантиком. Но сейчас, глядя на свои руки, на эти живые архивы его личной войны, он поймал себя на мысли, что в них есть что-то, не поддающееся его тотальному контролю. Какая-то память тела, которая сильнее памяти разума. Какая-то правда, которая не нуждается в словах.

Пальцы чуть дрогнули, расслабляясь. Он снова разжал кулак и положил ладони на горячее дерево, чувствуя, как жар проникает в кожу, в кровь, в самую суть. На миг ему показалось, что вместе с паром в него входит что-то ещё. Что-то, что было в этой бане до него. Может, та самая совесть Достоевского, которой тот мучился на этом самом полке. Может, бесшабашная удаля Мусоргского, что разливалась здесь не только музыкой, но и чем-то более тёмным, первородным. А может, просто человеческое тепло всех тех, кто сидел здесь, дышал этим паром, искал очищения — телесного или душевного.

Гримёр не верил в мистику. Слишком много смерти ви-

дел, чтобы верить во что-то, кроме очевидного. Но факт оставался фактом: здесь и сейчас в этом случайном взгляде на собственные руки случилось что-то, что не вписывалось ни в одну его схему. Что-то, от чего заскрежетала шестерёнка внутри, та самая, что отвечала за равнодушие и холодный расчёт. Память.

Он снова закрыл глаза, но теперь не для того, чтобы отгородиться, а для того, чтобы удержать этот миг. Руки его лежали на коленях — спокойные, тяжёлые, живые. И в этом спокойствии была не только сила, но и что-то похожее на молитву. Без слов. Без веры. Просто тишина, в которой можно наконец-то быть собой. Тем, кого не видит никто. Тем, кого он сам похоронил когда-то вместе с именем, оставленным в другой жизни.

Лёгкий, почти невесомый пар с горьковатым ароматом можжевельника ласкал его тело. На левом плече, там, где горячий воздух касался кожи, будто шевелясь от жары, лежала старая, полинявшая татуировка: большой, тщательно выведенный череп, холодно и победно восседающий на груде мелких, схематично наколотых черепков. Монумент лихим девяностым. Бухгалтерия, высеченная в плоти. Каждый маленький черепок не абстракция, а память, которая иногда просыпалась ночью тяжёлым сном. Гримёр редко о них думал сознательно — они стали частью облика, как шрамы на голове. Сейчас, в блаженной неге, они просто мерно пульсировали под кожей от жара, напоминая о весе иной, свинцо-

вой тяжести, что всегда таскал с собой.

Мысли, тяжёлые и конкретные, как булыжники, крутились вокруг предстоящих переговоров в Прибалтике. Старые знакомые по кавказским делам. Старые счёты, пахнувшие пылью, кровью и деньгами. Нужно было найти тонкий, как лезвие, баланс между угрозой и выгодой. Между тем, кем он был тогда — молодым, яростным, непобедимым в своём мастерстве, — и кем стал теперь. Между молотом спортивной дисциплины и наковальней уличного закона, который гнулся, но не ломался.

Тишину, густую и почти осязаемую, разрезали шаги. Гримёр не открыл глаз, но всё внутри него насторожилось, собралось в тугой, готовый к удару пружинный комок — тело, отточенное годами тренировок и конфликтов, всегда жило на низком старте. Вошли трое. Мужики лет сорока, крепкие, с хозяйским, уверенным видом. Поздоровались по банному обычаю, коротко и деловито: «С лёгким паром!» Устроились ниже. Гримёр, не открывая глаз, прочитал их по звуку: ослабленная уверенность, без подобострастия, но и без наглого вызова. Не братки, но и не просто обыватели. Мышцы спины чуть отпустили напряжение, но не бдительность.

А потом случилось нечто, что выбило все расчёты, все тяжёлые мысли, как струя пара выбивает дух. Один из пришедших встал, подошёл к маленькому запотевшему окошку, за которым клубился серый питерский свет, и, глядя в этот сонный двор, запел.

Не затыкнул, не буркнул под нос — а именно запел. Чистым, поставленным, глубоким баритоном, будто на сцене Мариинки, а не в прокуренной временем парной.

«Ты стой, стой, красавица моя...»

Голос, мощный и бархатный, заполнил всё пространство, ударил в кафель, оттолкнулся от влажных стен и обрушился обратно волной чистой, пронзительной красоты. Гримёр приоткрыл глаза. Его тяжёлый, привыкший выискивать слабинку и подвох взгляд на этот раз выражал лишь чистое, почти детское, обескураженное изумление. Он слышал в жизни многое: леденящие душу угрозы, предсмертные хрипы, сладкую, как яд, лесть — но это... Это была русская народная, спетая так, что комок, горячий и тугой, подкатил к самому горлу. *«...Дай хоть взглядеться, радость, на тебя...»* — мысленно повторял он, замороженный. Даже черепа на плече, казалось, замерли, прислушиваясь, их бледные контуры будто стёрлись под напором этой живой, трепещущей ноты.

Мистика. Самый центр Питера. Понедельник. Утро. В этой бане, где мылся и мучимый видениями Достоевский, и вождь мирового пролетариата, строящий новый мир, звучала опера. Жизнь вдруг сделала невероятный, непредсказуемый кульбит.

И тут... с улицы ему ответили.

Тот же куплет. Та же песня. Но голос — чистый, высокий, летящий тенор — идеально ложился на баритон из парной, сплетаясь с ним в невидимую золотую нить. Он плыл из-за

окна, с заснеженного двора, будто невидимый дух-соперник — тень из другого времени — принял вызов.

Дуэт длился несколько минут, которые растянулись в вечность. Два невидимых друг другу человека, разделённые кирпичной стеной и столетиями традиции, пели друг другу. Баритон в парной на мгновение сбился, дрогнул от изумления, но, сделав глубокий вдох, подхватил, и полилась гармония — невероятная, потусторонняя, разрывающая обыденность на части. В эти мгновения Гримёр забыл и про Прибалтику, и про груды мелких черепов на своём плече, и про свинцовую тяжесть своих лет. Существовал только этот чистый, пронзительный звук, пробивающийся сквозь каменные стены, через пар, сквозь саму толщу накопленной усталости. Его оценивающий циничный взгляд растаял, уступив место редкому, простому, почти болезненному удивлению. По спине побежали мурашки: не от холода, а от этой внезапной щемящей красоты.

И в этот момент, в сплетении двух голосов, пар вдруг сгустился перед глазами в нечто большее, чем просто влажный воздух. На миг, всего на миг Гримёру почудилось, что он слышит не только эту песню. Сквозь чистый тенор, сквозь глубокий баритон откуда-то из самой глубины раскалённых камней пробился другой звук. Сухой, щёлкающий треск, словно рвалась тугая нитка. А следом — тишина. Та самая, которую невозможно забыть. Густая, липкая, давящая тишина молдавского леса, заполненная теми, кто уже не дышит.

Перед внутренним взором, наложенным на запотевший кафель, на мгновение проступило другое лицо. Молодое, весёлое, сдувающее одуванчик. Вовка. А следом — холод прикосновения к тому, что ещё недавно было живым, и едкий сладковатый запах театрального грима, которым он замазывал то, что не должно было увидеть свет. Запах пороха, смешанный с запахом воска. Запах его последней, самой честной работы.

Видение длилось не дольше удара сердца. Гримёр моргнул, и тяжёлое влажное тепло Ямских бань снова встало на место, вытеснив тот промозглый подвал и выжженный солнцем август. Но внутри, где-то под черепами на плече, кольнуло. Тот мальчик, что прятался в канаве, выжил только затем, чтобы однажды оказаться здесь. И услышать это. Наверное, Вовка бы улыбнулся своей хулиганской ухмылкой и сказал: «Ну ты, Серега, и влип в историю. Прямо как в кинё...»

Гримёр чуть заметно качнул головой, отгоняя наваждение. Голоса за окном и в парилке всё ещё вели свою золотую нить, и в ней не было места смерти. Только жизнь. Та самая, ради которой стоило когда-то выбраться из той канавы.

Когда последняя нота растаяла в пару, повисла гробовая, оглушающая тишина...

Даже пар, казалось, застыл, не смея шелохнуться.

Певец, смущённо и как-то по-детски улыбаясь, вернулся на полку, вытирая лицо шапкой.

— Ты профессиональный певец? — не выдержал Гримёр,

грубо нарушая своё же железное правило молчания. Его голос, обычно тихий, властный и чёткий, прозвучал непривычно глухо, придавленный, расплющенный только что пережитой красотой.

Мужик отрицательно покачал головой, в его глазах светилась та же лёгкая растерянность.

— Нет. Я так... для души. А вот тот, снизу, — сказал он с почтительным недоумением, глядя в запотевшее стекло, за которым уже никого не было, — тот точно профи. Ангел, а не голос.

Гримёр медленно кивнул. Его взгляд снова стал тяжёлым, непроницаемым, но теперь в его глубине читалась не оценка угрозы, а глубокая, неподдельная, почти философская задумчивость. Он снова откинулся на горячее, живое дерево. Пар окутал его спортивное изрубцованное тело, но теперь это было не просто тепло — это было очищение. Переговоры в Прибалтике, кавказские разборки, вся эта сложная, опасная игра с её счетами и правилами — всё вдруг отодвинулось куда-то на второй план, показавшись суетной, плоской, бумажной декорацией. В этом вечном городе под низким понедельничным небом в старых, выдавших виды стенах только что случилось настоящее, тихое чудо. И он, Гримёр, человек со шрамами на голове и горой мёртвых воспоминаний на плече, оказался его свидетелем. Был в этом какой-то странный, необъяснимый знак. Знак, не вписывающийся ни в одну его схему, ни в один расчёт. Но от этого не менее — а может,

и более — реальный. Сегодняшний день, он чувствовал это кожей, точно пойдёт не по плану. И в этом, как ни странно, была не тревога, а смутная, давно забытая надежда.

Предисловие. Голос, который не успел стать книгой

«Память — единственная бухгалтерия, которая сходится всегда. Эта книга — моя запись. За него. За тех, кого он спас. За тех, кого не успел спасти. И за голос, который не должен замолчать».

Перед вами — книга, которой могло бы не быть. Эта книга не должна была писаться мной. Её должен был написать он. Мой друг. Человек, с которым мы переговорили десятки часов, чьи рассказы о жизни, о людях, о странных и порой мистических событиях всегда звучали настолько живо, что казалось — стоит только закрыть глаза, и ты уже стоишь рядом с ним в тех переулках, где разворачивалась очередная история.

В наших разговорах я часто корил его: «Ты обязан это записать. Это же готовая книга, мемуары, память». Он отмахивался. Говорил, что успеет. Что всё впереди. Что не знает, с какого слова начать. Он был рассказчиком от Бога, но, как это часто бывает, считал свои истории чем-то обыденным, не стоящим бумаги.

Он не успел.

Я узнал об этом от его дочери. Я звонил, звонил снова и снова, но телефон молчал, выбрасывая в ответ лишь холод-

ные гудки. А потом в трубке раздался молодой, растерянный голос: «Папа умер... в июне». Инсульт уже пятый.

Эти слова упали на меня тяжелым камнем. Обида и боль смешались воедино. Обида не на судьбу, а на то, как глупо всё вышло. Мы не попрощались. Мы не договорили. Я понял, что вместе с ним может уйти и всё то, что он рассказывал. Те истории, которым он был не просто свидетелем, а зачастую — главным героем.

Эта книга — не документ. Я не стенографировал его голос. Где-то додумал, где-то соединил разрозненные эпизоды в одну линию. Но правда осталась. Та самая, которую он считал обыденной. Та, где банный дуэт двух незнакомцев становится чудом, а выстрел, сделанный в мягкие ткани, оборачивается материнской молитвой.

Если вы когда-нибудь сидели на кухне с человеком, чьи истории переворачивают мир, — вы поймёте. Если нет — эта книга для вас. Чтобы вы слышали голос, который успел сказать далеко не всё. Я никогда не писал книг. Я не считал себя писателем. Но в тот момент я понял: если не я, то никто. Если не сейчас, то уже никогда. Я сел за стол и начал вспоминать всё, что он рассказывал. Его голос, его интонации, его взгляд. Так родился «Гридер». Эта книга — не плод моей фантазии. Это попытка сохранить те эпизоды жизни, которые нарочно не придумаешь. Сохранить правду жизни, как она есть, ее странные этапы и повороты, о которых он сам говорил, что их «неприменно нужно записать». Эта кни-

га — мой первый опыт.

* * *

Прости, что не успел при жизни пожать тебе руку за эти истории. Но теперь ты есть на этих страницах.

Памяти друга посвящается.

«Память — единственная бухгалтерия, которая сходится всегда. Эта книга — моя запись. За него. За тех, кого он спас. За тех, кого не успел спасти. И за голос, который не должен замолчать».



Часть первая. Картина маслом

Где формируется холст: запахи казармы, прыжки в небо, третья попытка поступить в институт — и первая кровь, навсегда изменившая цвет палитры.

Третья попытка. ВИФК

«Третья попытка. Он поднимался по склону, и в груди не было ни злости, ни азарта. Только холодная, ровная решимость. Та, что приходит, когда отступить уже некуда и путь только вперед».

1988 год. Из Болграда — в Токсово. Дембель, Северный Кавказ, два года обиды и стали. Разговор у штаба с двумя майорами, решивший судьбу. Рождение той самой ледяной решимости.

Память — странный триггер. Она не просто накладывает румяна на ушедшее, она умеет выхватывать из темноты такие детали, которые, казалось, стёрлись начисто. Запах, например. Гримёр сидел в кожаном кресле у камина, за окном сеял мелкий осенний дождь, а он вдруг с удивительной ясностью вспомнил запах казармы в Болграде. Смесь мастики для пола, хлорки из сушилки, кирзы и табака «Прима», который курили по ночам дембеля. 1988 год. Два года срочной в ВДВ за плечами. Гайжунай, учебка, где он с отличием по всем дисциплинам сдал экзамены и получил своё первое сержантское звание, и Болград, городок на границе с Румынией Одесского военного округа, где размещалась вся дивизия. Два года, которые переплавили мальчишку из провинциального северного городка в старшину роты ВДВ.

До армии он пытался поступать в этот институт дважды. Дважды пролетал. Спортивные разряды были, самбо, стрельба — всё при нём. Но в ВИФК, в легендарный «Ленинградский дважды краснознамённый», брали не просто спортсменов. Брали сливки. А он был крепким середняком из простой семьи без мохнатой лапы. В первый раз срезался на подтягивании: переволновался, сделал лишнее движение, и ему не засчитали. Во второй — недобрал баллов по общеобразовательным. Уехал в армию с обидой, но с холодным упрямым расчётом: я вернусь. Я докажу.

В ВДВ он доказал. В первую очередь — себе. Старшина роты — это не просто должность. Это ответственность за сто двадцать душ, за каждую пуговицу, за каждый выдох в строю. Он научился управлять людьми не окриком, а взглядом. Научился чувствовать грань, за которой начинается паника. И ещё: спортом он там занимался как одержимый. В свободное от нарядов и прыжков время — турник, бег, борьба. Он знал, что это не зря.

А потом случилось то, что сделало его поступление не просто целью, а вопросом жизни и смерти — в переносном, конечно, смысле, но тогда это чувствовалось именно так. Их полк победил в соревнованиях стран Варшавского договора. Лучшие из лучших. На плацу — оркестр, салют, начальство жмёт руки. А через неделю, перед самым дембелем, когда старшина уже мысленно мерил шаги по Ленинградским улицам, его вызывает комполка.

— Ты ж у нас спортсмен, — говорит комполка, не спрашивая, а утверждая. — И старшина. И физически готов. Есть командировка. Северный Кавказ. Не спрашивай куда и зачем. Скажу одно: надо.

Он мог отказаться. Дембель — святое. Но что-то внутри, то самое, что позже назовут чутьём Гримёра, щёлкнуло. Не «надо», а «так надо». Для себя.

Он съездил на Кавказ. Это была не война, нет. Так, зачистка какого-то аула, где засели боевики. Страх не было — была работа. Холодная, чёткая, как он любил. Он прикрывал группу, таскал ящики, стоял в оцеплении. И понял там одну простую вещь: после армии и после Кавказа ему уже не вписаться в обычную гражданскую жизнь. Только ВИФК. Только туда, где воздух пропитан потом, сталью и дисциплиной.

Прибыл он в институт на проспекте Карла Маркса, 63. Здание помпезное, с колоннами, пахнет историей и властью. Подходит к проходной, спрашивает начальника института. Ему говорят: «Начальник на летней базе, в Токсово. Все вопросы туда».



Серёга тогда не расстроился. Наоборот — почувствовал какой-то азарт. Экзамен начинается не в аудитории, а здесь и сейчас. Сумеешь найти начальника — сумеешь и поступить.

До Токсово добирался на электричке, потом пешком. База встретила его запахом хвои, прогретой солнцем земли и далёкими криками: там, на стадионе, уже гоняли курсантов. Он подошёл к КПП. Деревянная будка, шлагбаум, и около неё — группа парней в разной военной форме. Человек пять. Один — в морском бушлате, с якорем на ремне. Второй — артиллерист, с эмблемами пушек. Третий — из ВВС, в синей фуражке. Все свежепринятые, с войск. Ещё не переодетые в курсантскую форму. Стоят, курят, переговариваются, косятся на него.

Сергей подошёл, козырнул по-уставному, коротко, без выпендрёжа:

— Здравия желаю! Старшина роты. К начальнику института.

— Начальник в штабе, — сказал моряк, кивая на пригород, где виднелось двухэтажное здание рядом с белым корпусом санчасти. — Только туда просто так не пускают.

— Прорвёмся, — усмехнулся Сергей одними уголками губ. Та усмешка, что потом станет его визитной карточкой. Он уже сделал шаг, но что-то заставило его задержаться и перевести взгляд на моряка. В высоком худощавом детине

чувствовалась та же порода: не просто отслуживший, а настоящий стержень. Рукопожатие наверняка было бы стальным.

— Сергей, — коротко представился он, протягивая руку.
— Десант.

Моряк руку принял, сжал крепко, по-мужски, и на мгновение в его глазах мелькнуло что-то тёплое поверх служебной дистанции.

— Алексей, — ответил он. — Флот. Балтийский.

— Красивый тельник, — Сергей кивнул на полоски. — У нас синие, у вас — небо и вода. У меня отец — моряк-подводник. Северный флот.

— А у вас — облака, — в тон ему ответил Алексей и добавил уже серьёзно: — Ты это... не задерживайся там. Вечером в казарме увидимся. Расскажешь, как оно, ВДВ.

— Договорились, — кивнул Сергей и зашагал вверх по склону.

Он не знал тогда, что этот случайный разговор у КПП станет началом дружбы, которая выдержит и токовские казармы, и годы учёбы, и то, что потом назовут командировками. Не знал, что Владимир, такой же упёртый и молчаливый правдоруб, поступит на второй факультет — морской, что его тоже назначат старшиной, но уже на своём курсе, и что они станут друг для друга той самой опорой, без которой в ВИФКе не выжить.

Потом будут ночные разговоры в курилке, когда Сергей

будет учить Алексея метать ножи, а Алексей Сергея — морской вязке узлов, которую в десанте не проходят. Будут споры о том, чей флот круче и чьи традиции крепче. Будут совместные выходы на тактику и подстраховка на кроссах. Два старшины — два факультета — одна судьба на двоих.

Но это всё потом. А пока Сергей просто шёл вверх, к штабу, чувствуя спиной взгляд нового знакомого и думая о том, что, кажется, здесь, в этом сосновом раю, у него появится не просто попутчик, а настоящий товарищ.

Он шагал вверх по дорожке. Сосны обступали тропу плотной стеной, роняли в нагретый воздух смолистый дух. Солнце пробивалось сквозь лапы, оставляя на песке косые жёлтые пятна. Ветер — лёгкий, сквозной — шевелил волосы, холодил шею, забирался под тельняшку. Там, за бугорком, было озеро Чайное.

Молодой. Двадцать с небольшим, поджарый, сбитый на совесть. За спиной — выдавший виды вещмешок, за плечами — Болград, Гайжунай, учебка с отличием, старшина роты, Северный Кавказ. Две неудачные попытки. Два года обиды, которую он переплавил в сталь.

В глазах — ни злости, ни азарта. Холодная, ровная решимость. Та, что приходит, когда отступать уже некуда и не для кого. Он знал: эта попытка — последняя. Не будет больше ни армии, ни отсрочек, ни надежд. Либо форма этого института ляжет на плечи, либо жизнь пойдёт по другой колее — обычной, серой, чужой.

Он поднимался по склону. Впереди за деревьями угадывались крыши штаба и санчасти. Там решалась судьба. И он был готов принять любое решение, но только после того, как сделает всё, что может.

Запах хвои, солнце, ветерок. И шаг — ровный, пружинистый, шаг человека, который привык доходить.

На полпути его перехватили. Из штаба вышли двое. Оба майоры. Один — плотный, коренастый, с цепкими, быстрыми глазами. Второй — сухощавый, в очках, с папкой в руках. Позже Гримёр узнает, что это будущий начальник его курса и начальник кадров. А пока они просто стояли на его пути и в их взглядах читался интерес и вопрос: «Ты кто такой и что тебе здесь надо?»

Он подошёл, чётко, по-строевому, остановился в двух шагах. Приложил руку к козырьку:

— Товарищи офицеры, старшина роты гвардейского полка ВДВ Сергей. Прибыл для поступления в институт. Документы при мне. Личное дело, характеристика, наградной лист за участие в учениях.

Он говорил ровно, без запинки. Глядел прямо, не отводя глаз. В его голосе не было подобострастия — было уважение к старшим по званию и спокойная уверенность человека, который своё уже отпахал и пришёл за своим.

Коренастый майор (будущий начальник курса) окинул его взглядом с головы до ног: медаль «За отличие в воинской службе», значок парашютиста, аксельбант; глаза — тяжёлые, спокойные, не по-мальчишечьи взрослые.

— ВДВ, говоришь, — протянул он. — Два года? И уже старшина роты?

— Так точно.

— Спортивные разряды?

— Самбо, стрельба. Первый по стрельбе из автомата, по самбо КМС выполнял, но не успел подтвердить: приказ на дембель пришёл.

Майор переглянулся с кадровиком. Тот пожал плечами: мол, смотри сам.

— Документы давай, — сказал коренастый.

Гримёр расстегнул вещмешок, достал аккуратно завернутые в целлофан бумаги. Ничего не мокрое, не помятое — десантник есть десантник. Майор пролистал, хмыкнул, покачал головой.

— Слушай, старшина. Ты же понимаешь, что мест мало. Конкурс бешеный. Со всей страны едут. Мастера спорта, чемпионы. А ты...

— А я, — перебил Сергей мягко, но твёрдо, — два года в ВДВ. На Северном Кавказе был. Людьюми командовал. Под пулями ходил. Я не просто спортсмен, товарищ майор. Я — солдат. И солдат хочет стать офицером. Именно здесь.

Он сказал это и замолчал. Тишина повисла над пригор-

ком. Где-то внизу, на стадионе, кричали курсанты. Пахло хвоей и приближающимся вечером. Майор смотрел на него долго, изучающе и с интересом. Сергей вдруг понял, интуитивно, тем самым чутьём, которое потом не раз спасало ему жизнь: **на этот раз он поступит.**

Не потому, что он лучше всех бежит или стреляет. А потому, что он свой. Потому, что в его глазах майор увидел не мальчишеский задор, а ту самую ледяную, спокойную решимость, которая отличает настоящего бойца от просто хорошего спортсмена.

— Ладно, — сказал майор наконец. — Документы оставь. Иди на КПП, жди. Вечером будет приказ о зачислении на экзамены. Разместишься пока в казарме, с теми, кто с войск приехал. А там... посмотрим.

Он развернулся и пошёл в штаб. Кадровик, бросив на старшину любопытный взгляд, последовал за ним.

Гримёр остался стоять на пригорке. Внизу, у КПП, курили моряк, артиллерист и лётчик. Смотрели на него с надеждой и любопытством. А он смотрел на закат, пробивающийся сквозь сосны, и думал о том, что этот институт станет его вторым домом. Что здесь он встретит Вовку, с которым потом поедет в тот проклятый Тирасполь. Что здесь его научат не только бить, но и думать. И что отсюда через несколько лет он выйдет уже не просто старшиной Сергеем, а Гримёром. Но до этого ещё надо дожить.

Он медленно выдохнул, поправил вещмешок и зашагал

вниз, к КПП, к новым товарищам, к новой жизни.

...В камине догорали угли. Гримёр моргнул, возвращаясь в настоящее. Бокал с коньяком был тёплым в руке. Он усмехнулся той самой, одними уголками губ, усмешкой.

— Третья попытка, — тихо сказал он в пустоту. — И ведь поступил.

Он поднял бокал, посмотрел сквозь янтарную жидкость на огонь. За окном шумел дождь. А перед глазами всё ещё стояли те два майора на пригорке, запах хвои и молодое, полное надежды лицо парня в десантной форме, который только начинал свой долгий, страшный и славный путь. Путь, который привёл его сюда. В кресло у камина. С черепами на плече и целым городом за спиной.

Он сделал глоток. Коньяк обжёг горло. И в этом тепле, разлившемся по груди, было что-то от того далёкого токовского заката. Тогда ему казалось, что впереди только свет. Он не знал, сколько темноты придётся пройти, чтобы этот свет сохранить внутри.

Но он прошёл.

И продолжал идти.

Небо, которое осталось там

«Небо осталось там. В прошлом. В молодости. В теле, которое ещё не носило шрамов и черепов. Теперь у него была твердь под ногами. И этого хватит. Почти».

Парашиютные прыжки, сорок шестой — последний. Компрессионный перелом и тихий приговор врача: «Ваше небо закончилось». И небо действительно остаётся там — в молодости, в падении, в той, другой, жизни.

Загородный дом Гримёра под Питером стоял на пригорке, и из окна гостиной открывался широкий тоскливый простор: леса, поля, узкая лента дороги и Финский залив. Он сидел в кресле у камина, где уже потрескивали первые, ещё робкие поленья берёзы. В руках — тёплый бокал армянского коньяка, но пить он не спешил. Вдыхал аромат. Смотрел в окно.

И увидел их. В высоком холодно-синем небе, пронзительном после ночного дождя, застыли три точки. Потом из них вырвались белые шлейфы. Купола. Раскрылись почти одновременно — алый, синий, зелёный. Парашюты, плавные и невесомые, как медузы в толще океана, понеслись к земле. Гримёр не шелохнулся. Только пальцы чуть сжали хрусталь.

Они напомнили. Не о деле, не об угрозе, не о свинцовой тяжести «бухгалтерии» на плече. Они пробили слой за сло-

ем, добрались до того, что лежало глубже шрамов, глубже черепов. До неба, до его неба.

Это был не первый раз. Учебный центр под Псковом, 1988 год. Ему, гвардии старшине ВДВ Сергею, двадцать. За плечами — Гайжунай, учебка, армия и сорок пять прыжков, отложенных в лётной книжке сухими цифрами рапортов. Но каждый, каждый из них был как первый. Тело — сжатая пружина, мир — чёткий, ясный и ждущий подвига. Он стоял в строю у рокочущего Ан-2, этот «кукурузник» пахнет бензином, маслом и бесстрашием. Сердце колотилось не от страха, а от восторга. Сорок шесть. Он знал это число наизусть, как выученный Устав. Сорок шестой прыжок — и снова щемящий восторг в груди. Это был вызов гравитации, закону, обыденности. Инструктор, обветренный майор с птичками в петлицах, хлопал по спине: «Не ссы, курсант! Небо своих не бросает!» Дверь открылась. Ворвался рёв, ветер, слепящее солнце. Он не думал. Шагнул в пустоту.

Это было падение, которое оказалось полётом. Тишина, оглушительная после грома двигателя. Холодный воздух, бьющий в лицо, залепляющий глаза слезами. Земля внизу — как детская карта, игрушечная и нереальная. А потом — рывок за кольцо, удар в плечи и тихий ласковый шелест купола над головой. Он висел. Царь. Бог. Хозяин тишины. В тот миг он понял, что любит это больше всего на свете. Больше спортивных побед, больше адреналина уличных разборок. Это была чистая, абсолютная свобода. Небо стало его

второй настоящей стихией.

Он уже не просто Сергей. Он мастер спорта, он один из лучших в институте. Но что-то внутри уже надломилось. Тот август под Тирасполем остался кровавым рубцом. Вовка был в земле. А в Гримёре (уже без позывного, но с холодной пустотой внутри) что-то умерло. Эмоции.

Он стоял в том же Ан-2. Тот же рёв, тот же ветер в распахнутую дверь. Но внутри — тишина. Не медитативная, а мёртвая. Он смотрел на землю, на проплывающие внизу клочки леса, на извилину реки. Не было восторга. Не было страха. Не было ничего. Сознание стало отстранённым, наблюдающим, как будто он уже смотрел на своё тело со стороны. Вот оно механически проверяет подвеску. Вот делает шаг к двери. Ветер бьёт в лицо, вытягивая кожу на скулах. Звук мотора — просто фоновый шум. Никаких мыслей о небе, о свободе. Только холодный расчёт и пустота.

Он шагнул.

Полёт. Холод. Отсчёт. Рывок за кольцо.



И тут — сбой. Резкий, неверный толчок, будто купол дёрнули в сторону. Частичное открытие. Его бросило в штопор. Мир превратился в бешеный калейдоскоп неба и земли. В глазах потемнело от перегрузки. Он инстинктивно рванул на запасной, но было поздно — перехлёст строп. Белый шёлк спутался в тугой смертельный узел. Купол, так и не наполнившись, беспомощно поволок его вниз, как сломанную птицу.

Он падал. Уже не летел, а падал. И в этой последней секунде, глядя на стремительно растущий склон оврага, он не испугался. Мысль была кристально холодной и простой: «Ну что ж...»

Повезло. Он рухнул на склон по касательной, в рыхлый, подтаявший мартовский снег. Удар был страшным, глухим, выбившим из лёгких весь воздух и сознание. Но склон принял его, снег смягчил, отвёл от прямого столкновения с камнями.

Очнулся уже в госпитале. Боль — тупая, всепроникающая, сконцентрированная в пояснице. Диагноз: компрессионный перелом поясничных позвонков. Врач, пожилой полковник медицины, смотрел на него не как на героя, а как на несчастного дурака.

— Молодой человек, — сказал он устало, — вам сказочно повезло. Ходить будете. Но каждый следующий прыжок —

это русская рулетка. Следующий склон может не поймать. Пора заканчивать играть со здоровьем. Ваше небо закончилось.

Сергей молчал. Он смотрел в потолок, чувствуя, как в месте, где раньше жила любовь к небу, образуется новая, ещё более прочная пустота. Так закончились прыжки. Не из-за страха. Из-за холодной, железной логики. Ему повезло. Он это понял. Игра была закончена.

В гостиной запахло дымом и теплом. Парашютисты приземлились, купола сложили, их машина скрылась в лесу. Небо опустело.

Гримёр отпил глоток коньяка. Острая теплота разлилась по груди, но не смогла прогреть ту старую внутреннюю стужу — память о последнем свободном падении.

Он встал, пошёл к телефону. Он ждал старого друга, товарища ещё по ВИФКу, с которым они когда-то делили и прыжки, и первые драки, и ту самую, довоенную, жизнь. Того, кто знал его Сергеем, а не Гримёром.

Нужно было подготовиться. Ритуал. Он прошёл в предбанник, зажёл газовой горелкой угли под старинным медным самоваром. Запах горящего угля, металла и сосновой смолы — запах покоя, который он выстроил себе вместо неба. На улице, под навесом, уже тлели угли в мангале. Рядом лежали маринованные куски баранины. Шашлык. Простая мужская еда для разговоров, в которых не будет ни слова ни о Прибалтике, ни о «бухгалтерии», ни о ночных губернаторах.

Он вернулся в дом, подбросил поленьев в камин. Огонь ожил, заиграл языками по древесине, отбрасывая танцующие тени на стены, на его неподвижное лицо со шрамами.

Он снова подошёл к окну. Небо потемнело, стало свинцовым. Никаких парашютов. Только первые редкие звёзды.

Небо осталось там. В прошлом. В молодости. В теле, которое ещё не носило шрамов и черепов. Теперь у него был камин, баня, самовар, шашлык и тихая выстрадавшая твердь земли под ногами. И разговор с человеком, который помнил его летящим. Этого было достаточно. Почти.

Он потянулся к полке, взял старую, потрёпанную фотографию: группа курсантов на аэродроме, все в комбезах, у всех — безусые ликующие лица. Он нашёл себя. Того, смотрящего вверх, в небо, с глазами, полными дерзкой нерушимой веры.

Медленно, почти нежно Гримёр положил снимок обратно. Затем повернулся спиной к окну и к прошлому и целиком обратился к теплу камина, к тихому шипению самовара, к настоящему, которое он построил сам. Крепко, как гранитная набережная. Где падения если и случаются, то только метафорические. И где его ловил уже не склон оврага, а его собственная железная воля.

С улицы посигналил автомобиль. «Вот и Женька подъехал, — пронеслось в голове. — Пора и в баньку».

Воспоминания. Тирасполь

«Он был Гримёром, накладывавшим последний, самый важный грим — грим достоинства на лик бесчестной смерти. И каждый раз, заканчивая работу, он чувствовал, как внутри нарастает новый слой льда».

Центральная, прорывная глава. Зной, лес, одуванчик, сдутый Вовкой... — и канава, полная мёртвых тел, под которой приходится зарыться, чтобы выжить. Первое имя: «Ну ты и гримёр, браток». Превращение спортсмена в снайпера, калечащего, но не убивающего. И первый подвал, где кисть возвращает лица мёртвым.

Пар в «люксе» ямских бань на Достоевского был густой, молочный, пахнувший дубовым веником и временем. Гримёр сидел на верхней полке, прислонившись к горячей стене. Глаза закрыты, но не от дремоты — от наплыва образов, которые редко тревожили его сознание. Сегодня под вой питерского ветра за маленьким окошком они пришли сами.

Мысленно он перенёсся в начало девяностых. Молодой крепкий курсант Военного дважды краснознамённого института физической культуры. Не Гримёр ещё, а просто Сергей. И его друг — Вовка. Дружба, скреплённая потом на ковре самбо, адреналином прыжков с парашютом, общими победами и разбитыми носами в кабаке «Белая лошадь», где

авторитет ВИФКа не оспаривали даже самые отчаянные.

Тот знойный август в Молдавии... Поехал к Вовке на ка-никулы, в гостеприимный дом под Тирасполем. А попал в мясорубку. Война, которая тогда ещё не называлась войной. Межнациональные стычки, пылающие деревни, озверевшие от безнаказанности банды, отстреливавшие всех, кто не говорил на молдавском.

Он помнил тот день с болезненной, почти фотохимической чёткостью. Помнил, как пахло озером — сырой травой и нагретой солнцем водой. Как Вовка смеялся, сдувая одуванчик, и говорил что-то о рыбе. Наивные. Два дурака, живших в шаткой иллюзии, будто война — это где-то там, за горизонтом, гулкая эхо-камера сводок. Она пришла к ним не грохотом, а шёпотом — треском сухой ветки под чужим сапогом.

И тогда лес, редкий и прозрачный, взорвался. Не грохотом, нет — сухим, щёлкающим треском, словно рвалась тугая нитка. Свист. Неприличный, визгливый звук, прожигающий воздух у самого уха. Инстинкт, древний и слепой, выключил мысли, оставив только тело — дрожащее, потеющее, предательски тяжёлое. Ноги путались в корнях, сердце кололось о рёбра, как птица в клетке, а в горле стоял медный вкус страха.

Падение в канаву было не просто падением, а провалом в иную реальность. Из мира света, звуков и паники — в мир густой, приторной тишины и липкого холода. Он упал не на

землю. Он упал на них. Мужчина в клетчатой рубашке, смотревший в небо стеклянными глазами. Женщина, прижимавшая к кому-то тряпичную куклу. Они были везде. Молчаливые. Нездешние. Холод их кожи просачивался сквозь ткань, жгучий и чужой.

Ужас парализовал. В нём, внутри, копошилось что-то червеобразное и цепкое — воля к жизни. Он действовал, не думая, движимый этим слепым существом. Зарылся. Под бездыханную плоть, ставшую щитом.

И тогда его накрыло **этим**. Запах ударил не в ноздри — в мозг, минуя все рецепторы. Сладковатый, приторный, тошнотворный — от него сводило челюсти и корень языка становился ватным. Так пахнет только разложение, только мясо, брошенное гнить под августовским солнцем. Эта вонь не просто въедается в одежду — она въедается в ДНК, в подкорку и будет сниться и через двадцать лет. Она оседает в лёгких тяжёлым маслянистым налётом, смешивается с кровью, становится частью тебя.

Липкая прохлада, к которой он прижался спиной, оказалась не просто прохладой — это было трупное окоченение. Холод, который не имеет ничего общего с зимой или льдом. Это холод небытия, абсолютный ноль человеческого тепла. Сергей чувствовал, как позвонками, лопатками, каждой точкой позвоночника он вжимается в тело, которое уже никогда не вздохнёт. Мышцы под его спиной закаменели, превратились в кору, в глину — и эта одеревенелость передавалась

ему, парализуя, заражая смертью через кожу.

Внутри него, в горле, застрял крик. Он рвался наружу, раздирая голосовые связки, разбухая, заполняя рот, уши, черепную коробку так, что, казалось, голова сейчас лопнет. Сергей открыл рот, чтобы закричать, выплюнуть этот ужас, выдрать его из себя вместе с глоткой... но звук умер. Крик остался внутри — беззвучный, абсолютный, чёрный. Он бился о рёбра, о стенки сердца, пульсировал в глазных яблоках, но наружу не вышло ни шёпота. Только челюсть тряслась мелкой противной дрожью, стуча зубами о зубы, выдавая его единственным звуком — клацающим, идиотским, несоразмерным тому аду, в котором он лежал.

Он замер, слившись с мертвецами. Теперь они были одним целым. Тела — его щит. Его саван. Его могила. А поверх этой братской постели, где живой пытался стать неживым, чтобы выжить, плыл и плыл тяжёлый, маслянистый, сладкий запах, сворачивая кровь в жидкий цемент. И собственное сердце долбило в висках диким, невероятно громким стуком на фоне этой леденящей тишины — единственное доказательство того, что он ещё не стал частью пейзажа. Ещё минута, и этот стук стих бы. Ещё минута, и он действительно стал бы одним из них.

Ночь вышла чёрной и беззвёздной, как погребальная яма. Он выполз из канавы, оглохший не от звуков, а от их отсутствия, от этой всепоглощающей, давящей немоты мира. Брёл наугад, как в тумане, не чувствуя ног. На блокпосте сре-

ди усталых лиц и запаха махорки, горелого металла и пыли ему сказали про Вовку. Не просто «взяли в плен». Сказали с горькой усталой оглядкой, выдавливая слова: «Твоего друга... нашли. Курсант, спортсмен... Они, сволочи, узнали. Не просто убили. Они истязали». И эти непроизнесённые детали, проступившие в их глазах, были страшнее любой картины. Его Вовка, весёлый, сильный... Обезображенный. Растерзанный.

В тот миг внутри что-то гулко, с сухим хрустом обломилось. Какая-то последняя невидимая перемычка, соединявшая его с миром, где есть место жалости, сомнению, слабости. И в ту же секунду в раскалённом горниле этой боли и ненависти из обломков выплавилось нечто новое. Холодное. Твёрдое. С идеальной лезвийной остротой. Это не было решением. Это было превращением. Мечь перестала быть чувством — она стала веществом, тяжёлым и плотным, наполнившим каждый сосуд, забившимся в каждый нерв. Она стучала в висках ровными методичными ударами молота по наковальне: тук-тук-тук.

Он примкнул к ополченцам. Но не стал просто бойцом с автоматом, плюющимся свинцом в молоко, не стал частью крика и мата, что висел над позициями. Он избрал тишину. Длинную, выверенную, одинокую тишину выстрела. Снайпер. Это слово вошло в него, как входит нож в податливое дерево, — плотно, без зазубрин.

Это было не обучение — это было возвращение. К исто-

кам, которые он не выбирал, но которые выбрали его. Всплыло вдруг из пыльных закоулков памяти: запах смазки и пороха в тирах ДОСААФ, где мальчишкой он впервые почувствовал, как мир сужается до точки. Холодный лакированный приклад, прильнувший к щеке, как единственно верная женщина. Та самая эйфория десятки, когда пуля входит ровно в «яблочко» и секунду мишень молчит, будто тоже переводит дыхание. Тогда ему казалось — это спорт. Игра в солдатики. Теперь он понял: это было пророчество. Многолетняя, растянутая на годы репетиция единственного ремесла, которое он теперь признавал. Стрельбы в армии, в учебке, где инструкторы до седьмого пота возились с молодыми зелёными курсантами, ещё не понимающими, куда и в какие войска они попали и с какими задачами они будут сталкиваться.

Мастер спорта, победы на союзных турнирах, твёрдые рукопожатия тренеров — всё это было лишь чертежом. Схемой, набросанной карандашом на салфетке. Теперь в промозглой тишине позиций, под низким небом, пропахшим гарью, он отлил себя в готовую форму. Форму инструмента. Он выплавил из себя всё лишнее — жалость, сомнение, страх — и залил в пустоту расплавленный металл ненависти и месть. Когда металл остыл, он стал прикладом. Цевьём. Ударно-спусковым механизмом.

Мир, который он знал раньше, больше не существовал. Распался на шелуху, на звуки, на тени. Осталось только пе-

рекрестие прицела. Оно было геометрией его новой веры. Поправка на ветер стала молитвой. Он читал воздух, как шаман читает звёзды: по колыханию травы, по пыли, взметнувшейся с дороги, по тому, как гнётся ветка акации. Сердце билось размеренно, отдельно от него, где-то в вакуумной пустоте между вдохом и выдохом. В этом промежутке, в этой ледяной паузе он существовал по-настоящему.

Тук-тук-тук. Сердце молотом отмеряло ритм. Вдох. Задержка. Выдох наполовину. Плавное нажатие указательным — не пальцем, а всем существом, спуск. И — хлопок. Сухой, будто лопнула туго натянутая струна где-то в самом центре мироздания, как плеть. Он не стрелял. Нет. Он вершил холодное беззвучное правосудие. Мечь давно перестала быть лихорадкой, горячкой, безумным плясом крови. Она стала литургией.

Каждый его выстрел был памятником. Не мраморным, не гранитным — такие крошатся под дождём и временем. Памятником из тишины и свинца. Он ставил их в телах тех, кто носил ту же форму, что и убийцы Вовки. И когда тело оседало, подкошенное, ватное, нелепо взмахнув руками, Сергей видел перед собой не врага. Он видел пыльный молдавский лес, одуванчик, сдутый смеющимся другом, и тот последний, страшный взгляд, которым его, прячущегося под трупами, наградило воображение. Каждый выстрел был криком Вовки. Тем самым беззвучным, застрявшим в горле криком, что он сам не смог исторгнуть тогда, в канаве. Теперь

этот крик обрёл форму. Он летел. Он находил цель. Он рвал плоть и затыкался навеки, даря Сергею секундное обжигающе-ледяное облегчение.

И только потом, когда отдача гашена, а гильза, звякнув, катится под ноги, он позволял себе на мгновение закрыть глаза. И тогда вспыхивало лицо Вовки — не истерзанное, не то, что нарисовали слова на блокпосте, а прежнее, живое, с веснушками на носу и вечной цыганской хитринкой. Сергей шевелил губами, беззвучно, одними гласными: «Я здесь. Я помню. Я считаю». И открывал глаза, чтобы снова прильнуть к прицелу. Инструмент не должен плакать. Инструмент должен работать.

Но даже тогда с «СВД» в руках, глядя в прицел на тех, кто носил ту же форму, что и убийцы Вовки, он не переступал черту, которую провёл себе сам. Месть была слепой, его принцип — нет. Он не убивал. Он калечил. Методично, хладнокровно, отправляя пулю в мягкие ткани ягодиц. Выбивал бойца из строя надолго, обрекая на мучения, но оставлял жизнь. Это была его странная внутренняя бухгалтерия, ещё до той, что позже появится на плече. Каждый такой выстрел был и возмездием, и напоминанием самому себе: ты не стал таким, как они.

Промозглый подвал, где воздух стоял слоями: сырость — снизу, смерть — посередине, керосинная гарь — у потолка. Свет лампы колыхался, отбрасывая тени, которые жили своей жизнью: ползли по стенам, карабкались по углам, пля-

сали на лицах. Сюр. Театр абсурда. Только зрители молчали, уткнувшись невидящими глазами в сводчатый потолок. Он опустил на корточки рядом с первым. Парень. Лет двадцать от силы. Лицо — сплошное месиво. Осколок прошёлся вскользь, срезав щёку, скулу, часть носа. Кровь уже запеклась коркой, чёрной, потрескавшейся, как старая глина на целине.

Сергей раскрыл коробку. Трофейный грим — плотный, восковой, пахнущий чем-то чужим, довоенным, почти неприличным здесь. Натуральный, телесный. Кармин. Охра. Кисти — белка, колонок. Нежные. Для румянца. Для несуществующих теперь щёк.

Он окунул кисть.

И начал.



Рука не дрожала. Она двигалась сама, отдельно от сознания, отдельно от того, что осталось от души. Сначала — очистить. Влажной ветошью осторожно, почти нежно стереть запёкшуюся кровь, убрать сор, прилипшие листья, мелкую крошку земли. Потом — основа. Воск ложился на рану плотным слоем, заполняя провалы, выравнивая рельеф. Там, где зияла дыра, он лепил заново. Пальцами — холодными, как у покойника, — формовал скулу, подбородок, край глазницы. Грим таял от тепла рук, становился податливым, послушным.

Парень напротив — один из тех, кого вывернуло наизнанку при виде этого тела, — сидел в углу, сжимая голову руками. Сквозь пальцы сочились всхлипы. Другой, постарше, зажигал керосинку и смотрел в стену. Смотрел так, будто хотел прожечь её взглядом и вывалиться наружу, в ночь, в никуда, лишь бы не видеть.

А Сергей работал.

Он смешивал цвета на самодельной палитре — куске фанеры. Охра с кармином давали тот самый, живой оттенок. Чуть белил — на переносицу, на скулы, где падает свет.

Он вспоминал школьную сцену, софиты, девчонок с вечно испачканными пальцами. Там он учился делать красивое. Здесь — делать похожим на себя. Почти живым.

Кисть шла легко. Штрих за штрихом, слой за слоем. Ра-

на исчезала. Под рукой проступало лицо. Не то идеальное, с афиши, — а его собственное, парня, которого Сергей видел вчера. Веснушки на носу он не рисовал — их не было. Но были тонкие ниточки шрамов у брови, была чуть скошенная линия губ. Он возвращал ему это. По кусочкам. По миллиметрам.

В горле запершило от керосина, от воска, от этой проклятой тишины. Но он не кашлянул. Только сцепил зубы и повёл кистью дальше, закрывая последний разрыв — у виска, там, где осколок вырвал кусок кожи с волосами.

Закончил. Отстранился.

Перед ним лежал человек. Не тот, вчерашний, живой, с хриплым смехом и мозолистыми ладонями. Но и не то месиво, что принесли час назад. Кто-то третий. Уснувший. Спокойный. Почти настоящий.

Пальцы Сергея, измазанные воском и охрой, мелко дрожали. Впервые за вечер.

Он вытер их о тряпку. Медленно. Тщательно. Глядя на свои руки — эти руки, что час назад держали винтовку, что много лет назад держали школьную кисть, что сейчас пахли мёртвой плотью и театральной пудрой. Где кончалось одно и начиналось другое? Он уже не понимал.

В углу парень перестал всхлипывать. Смотрел на него. Все смотрели. Молча.

А Сергей уже перешагнул к следующему телу, раскрывая коробку с гримом, чувствуя, как пустота внутри наращивает

новую корку льда. Толще. Надёжнее. Навсегда.

Он не думал. Его руки действовали сами — уверенно, методично. Кисть ложилась на холодную кожу, замазывая синие-багровые воронки осколков, сшивая гримом рваные края ран, возвращая чертам подобие целостности. Он смешивал оттенки на палитре — не жизни, а подобия жизни. Румянец, который уже никогда не будет естественным. Спокойное выражение, которого не было в последний миг.

Он работал в гробовой тишине, нарушаемой лишь потрескиванием фитиля да сдавленными всхлипами кого-то в углу. Его собственное лицо было каменной маской. Ни морщинки, ни искры в глазах. Только предельная ледяная концентрация. Внутри же... внутри бушевало немое цунами. Каждое прикосновение к холодной коже было молчаливым диалогом, криком в бездну: *«Прости, брат. Вот так лучше? Смотри, почти как живой. Почти...»* Он лепил им покой, которого у них не было. Он дарил их матерям последний, ужасно важный образ: не изувеченного сына, а уснувшего воина. Это была его немая епитимья. Его странная, извращённая молитва.

И когда он отстранился от очередного лица, уже почти узнаваемого, почти мирного, из темноты хрипло, с надрывом бросили:

— Ну ты и гримёр, браток.

Слово повисло в воздухе, тяжёлое и многослойное. Он не ответил. Лишь медленно вытер кисть о тряпку, смотря на

свои пальцы, запачканные уже не краской, а чужой смертью и восковой маской забвения. Гримёр. Да. Он был Гримёром, накладывавшим последний, самый важный грим — грим достоинства на лик бесчестной смерти. И каждый раз, заканчивая работу, он чувствовал, как что-то внутри не плавится, не ломается, а покрывается новой, ещё более толстой и непроницаемой оболочкой льда.

Так и прилипло. Сначала как шутка, потом — как имя. Гримёр. Тот, кто наводит красоту на смерть. Тот, кто маскирует ужас под приемлемую для живых картину.

В парной Гримёр медленно открыл глаза. Тяжёлый оценивающий взгляд упёрся во влажные дубовые доски. Пар обволакивал его тело, под которым напряглись мышцы, будто снова чувствуя ту давнюю усталость, холод канавы и запах грима, смешанный с запахом смерти.

Он провёл ладонью по абсолютно лысой голове, по шрамам — более поздним архивам. «Бухгалтерия» на плече, череп под кожей, казалось, на мгновение сжались.

Тот мальчик, прятавшийся под трупами и старавшийся не убивать, и тот мужчина, что сейчас сидел в банном «люксе», диктуя правила целому городу, были одним человеком. Война не сделала его монстром. Она показала ему цену жизни и силу контроля. Над ситуацией. Над собой. Над тем, какую картину видят другие.

Он сделал глубокий вдох, вбирая аромат можжевельника. Вовка остался там, в пыльном молдавском лесу, частью

его личной мифологии. А Гримёр остался здесь. В Питере. В бане, где сталкиваются призраки. Где когда-то пели дуэтом незнакомые люди, напоминая о чуде. И где он, человек со шрамами и черепами, мог позволить себе на мгновение стать просто зрителем. Потом снова надеть маску. Наложить грим. И выйти в мир, где он был уже не снайпером, стреляющим в ягодицы, а художником, рисующим реальность своими правилами.

Но иногда, совсем редко, как сегодня, пар вымывал из уголков памяти тот далёкий едкий запах театрального грима и пороха. И он снова видел лицо друга. И слышал хриплый голос, давший ему имя-позывной — ГРИМЁР.

Часть вторая.

Художник и его модели

Кисть и спусковой крючок. Дела девяностых и двухтысячных: золото, осечки, волки со всех сторон — и люди, которых он вытаскивал из тьмы.

Первая кисть. Имя

«Имя — это не то, что тебе дали. Имя — это то, что ты сделал с собой. Одна судьба. Две стороны одной медали. И она цела».

Размышление о гриме как о «последней молитве». Руки, которые красят смерть, и руки, которые держат оружие. Одна суть — две стороны.

Пар в Ямских банях стоял густой, почти осязаемый. Гримёр сидел на верхней полке, закрыв глаза. Жар проникал в самую глубину — туда, где заканчиваются мышцы и начинается память.

Сегодня он пришёл не мыться. Он пришёл слушать.

В загородном доме у него была своя баня. Добрая, жаркая, с кафелем по его эскизу, с вениками из Кавголовского леса. Туда он ездил за покоем. Сюда — за другим. Ямские на Достоевского стали его встречей с историей, которая была больше него. Здесь, под низкими сводами, хорошо думалось. Он становился не хозяином дома, а просто одним из многих. Наблюдателем. Он любил смотреть на людей: на стариков, помнивших ленинградский блокадный жар, на молодых, кто лишь прикасался к ритуалу, на тех, кто искал в бане не чистоты тела, а чистоты мысли. Баня дышала чужими судьбами. Это кормило сильнее, чем одиночество собствен-

ной парной.

Голоса звучали приглушённо, перетекали один в другой. Цены, здоровье. Обычный банный день. Но Гримёр знал: сегодня что-то случится. Он чувствовал это по тому, как ныло левое плечо — там, где под кожей спала его бухгалтерия. Черепа не шевелились. Они ждали.

Он провёл ладонью по лысой голове, нащупал шрамы. Самый старый — от гранаты на Восстания. Другой — от осколка из той самой жопы мира, где правила не писались. Но был ещё один шрам. Невидимый. Тот, что не зажил до сих пор.

Тот, который носил имя.

Позже он пытался объяснить это Женьке. Сидели в загородном доме, пили коньяк, смотрели на догорающий камин. Женька спросил: «Ты почему Гримёр? Ну, прозвище понятно, а имя? Почему не вернулся к своему?»

Гримёр долго молчал. Потом сказал:

— А кто был до?

— Ну, Серёга. Ты.

— Нет. Серёга остался там. В канаве. Я просто вышел.

Он и сам не знал, когда это случилось. Может, в тот момент, когда услышал хриплый голос из темноты: «Ну ты и гримёр, браток». Слово повисло в воздухе. Он тогда не ответил. Только медленно вытер кисть о тряпку, глядя на пальцы, запачканные уже не краской — чужой смертью и восковой маской забвения. В ту ночь он не выбирал это имя. Оно само нашло его. Как нашла та канава под Тирасполем. Как

прошла мимо пуля, которая должна была убить. Как нашла тишина внутри — после того, как лопнула последняя перемычка, соединявшая его с миром, где есть место жалости, сомнению, слабости.

Он выплавил из себя всё лишнее. Не сразу. Но в какой-то момент понял: Сергея больше нет. Есть тот, кто умеет смотреть в прицел и не моргать. И тот, кто накладывает грим так, чтобы мёртвые выглядели живыми — хотя бы на время прощания.

Сначала ремесло. Потом имя. Потом суть.

Гримёр сидел в парной, закрыв глаза. Пар проникал в него, вымывая едкий запах театрального грима и пороха. Плечо заныло — черепа зашевелились.

— Ты помнишь?

Он помнил. Всё. Но не как груз — как факт. Как запись в бухгалтерии, которую нельзя стереть, но можно принять. Он был гримёром. Не тем, кто наводит красоту на сцене. Тем, кто наводит красоту на смерть. Тем, кто умеет сделать так, чтобы в последний путь человек уходил не чудовищем, а человеком.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.